

М.А. Шолохов

Алешкино сердце

Два лета подряд засуха дочерна вылизывала мужицкие поля. Два лета подряд жестокий восточный ветер дул с киргизских степей, трепал порыжелые космы хлебов и сушил устремленные на высохшую степь глаза мужиков и скупые, колючие мужицкие слезы. Следом шагал голод. Алешка представлял себе его большущим безглазым человеком: идет он бездорожно, шарит руками по поселкам, хуторам, станицам, душит людей и вот-вот черствыми пальцами насмерть стиснет Алешкино сердце.

У Алешки большой, обвислый живот, ноги пухлые... Тронет пальцем голубовато-багровую икру, сначала образуется белая ямка, а потом медленно-медленно над ямкой волдыриками пухнет кожа, и то место, где тронул пальцем, долго наливается землянистой кровью.

Уши Алешки, нос, скулы, подбородок туго, до отказа, обтянуты кожей, а кожа — как сохлая вишневая кора. Глаза упали так глубоко внутрь, что кажутся пустыми впадинами. Алешке четырнадцать лет. Не видит хлеба Алешка пятый месяц. Алешка пухнет с голоду.

Ранним утром, когда цветущие сибирьки рассыпают у плетней медвяный и приторный запах, когда пчелы нетрезво качаются на их желтых цветках, а утро, сполоснутое росой, звенит прозрачной тишиной, Алешка, раскачиваясь от ветра, добрал до канавы, стоная, долго перелезил через нее и сел возле плетня, припотевшего от росы. От радости сладко кружилась Алешкина голова, тосковало под ложечкой. Потому кружилась радостно голова, что рядом с Алешкиными голубыми и неподвижными ногами лежал еще теплый трупик жеребенка.

На сносях была соседская кобыла. Недоглядели хозяева, и на прогоне пузатую кобылу пырнул под живот крутыми рогами хуторской бугай, — скинула кобыла. Тепленький, парной от крови, лежит у плетня жеребенок; рядом Алешка сидит, упираясь в землю суставчатыми ладонями, и смеется, смеется.

Попробовал Алешка всего поднять, не под силу. Вернулся домой, взял нож. Пока дошел до плетня, а на том месте, где жеребенок лежал, собаки склублились, дерутся и тянут по пыльной земле розоватое мясо. Из Алешкиного перекошенного рта: «А-а-а...» Спотыкаясь, размахивая ножом, побежал на собак. Собрал в кучу все до последней тоненькой кишочки, половинами перетаскал домой.

К вечеру, объевшись волокнистого мяса, умерла Алешкина сестренка — младшая, черноглазая.

Мать на земляном полу долго лежала вниз лицом, потом встала, повернулась к Алешке, шевеля пепельными губами:

— Бери за ноги...

Взяли. Алешка — за ноги, мать — за курчавую головку, отнесли за сад в канаву, слегка прикидали землей.

На другой день соседский парнишка повстречал Алешку, ползущего по проулку, сказал, ковыряя в носу и глядя в сторону:

— Леш, а у нас кобыла жеребенка скинула, и собаки его слопали!..

Алешка, прислонясь к воротам, молчал.

— А Нюратку вашу из канавы тоже отрыли собаки и середку у ей выжрали...

Алешка повернулся и пошел молча и не оглядываясь.

Парнишка, чикиляя на одной ноге, кричал ему вслед:

— Маманька наша бает, какие без попа и не на кладбище закопанные, этих черти будут в аду драть!.. Слышь, Лешка?

* * *

Неделя прошла. У Алешки гноились десны. По утрам, когда от тошного голода грыз он смолистую кору караича, зубы во рту у него качались, плясали, а горло тискали судороги.

Мать, лежавшая третьи сутки не вставая, шелестела Алешке:

— Леня... пошел бы... молочаю в саду надергал...

Ноги у Алешки — как былки, оглядел их подозрительно и лег на спину, от боли, резавшей губы, длинно растягивал слова:

— Я, маманька, не дойду... Меня ветер валяет...

На этот же день Польша, старшая сестра Алешки, доглядела, когда богатая соседка, Макарчиха по прозвищу, ушла за речку полоть огород, проводила глазами желтый платок, мелькавший по садам, и через окно влезла к ней в хату. Подставив скамью, забралась в печку, из чугуна через край пила постные щи, пальцами вылавливала картошку. Убитая едой, уснула, как лежала, — голова в печке, а ноги на скамье. К обеду вернулась Макарчиха — баба ядреная и злая. Увидела Польшу, взвизгнула, одной рукой вцепилась в спутанные волосенки, а другой — зажав в кулаке железный утюг, молча била ее по голове, лицу, по гулкой иссохшей груди.

Из своего двора видал Алешка, как Макарчиха, озираясь, стянула Польшу с крыльца за ноги. Подол Полькиной юбочки задрался выше головы, а волосы мели по двору пыль и стлали по земле кровавистую стежку.

Сквозь решетчатый переплет плетня глядел, не моргая, Алешка, как Макарчиха кинула Польшу в давнишний обвалившийся колодец и торопливо прикинула землей.

* * *

Ночью в саду пахнет земляной сыростью, крапивным цветом и дурманным запахом собачьей бесилы. Вдоль обветшалой огорожи лопухи караулят дорожку бессменно. Ночью вышел Алешка в сад, долго глядел на Макарчихин двор, на слюдяные оконца, на лунные брызги, окропившие лохматую листву садов, и тихо побрел к воротам Макарчихино двора. Под амбаром загремел цепью и забрехал привязанный кобель.

— Цыц!.. Серко... Серко... — Стягивая губы, Алешка посвистал заискивающе, и кобель смолк.

В калитку не пошел Алешка, перелез через плетень и ощупью, ползком добрался до погреба, накрытого бурьяном и ветками. Прислушиваясь, звякнул цепкой. Не заперт погреб. Крышку приподнял, ежась спустился по лестнице.

Не видал Алешка, как из стряпки выскочила Макарчиха. Подбирая рубаху, прыжками добежала до повозки, стоявшей посреди двора, выдернула шкворень и — к погребу. Свесила вниз распатлаченную голову, а Алешка закрыл помутневшие глаза и, прислушиваясь к ударам тарахтящего сердца, не передыхая пил из кувшина молоко.

— Ах ты, хвятинов в твою дыхало? Ты что же это делаешь, сукин сын?..

Разом отяжелевший кувшин скользнул из захоладовавших Алешкиных пальцев и разлетелся вдребезги, стукнувшись о край лестницы.

Комом упала Макарчиха в погреб...

* * *

Легко подняла Алешку за плечи, молча, с плотно сжатыми губами, вышла на проулок, прошла под плетнем до речки и бросила вялое тело на ил, около воды.

На другой день — праздник троица. У Макарчихи пол усыпан чабрецом и богородицной травкой. С утра выдоила корову, прогнала ее в табун, шальку достала праздничную, цветастую, в разводах, покрылась и пошла к Алешкиной матери. Двери в сенцы

распахнуты, из неметеной горницы духом падальным несет. Вошла. Алешкина мать на кровати лежит, ноги поджала, и рукою от света прикрыты глаза. На закоптелый образ перекрестилась Макарчиха истово.

— Здорово живешь, Анисимовна!

Тишина. У Анисимовны рот раззявлен криво, мухи пятнают щеки и глухо жужжат во рту. Макарчиха шагнула к кровати.

— Долго пануешь, милая... А я, признаться, зашла узнать, не будешь ли ты продавать свою хату? Сама знаешь — девка у меня на выданье, хотела зятя принять... Да ты спишь, что ли?

Тронула руку — и обожглась колючим холодком. Ахнула, кинулась от мертвой бежать, а в дверях Алешка стоит — белей мела. За косяк дверной цепляется, в крови весь, в иле речном.

— А я живой, тетя... не убивай меня... я не буду!

* * *

Перед сумерками через улицы, увешанные кудрявыми коврами пыли, через площадь, мимо отерханной церковной ограды, тенью шел Алешка. Возле школы, под нахмуренными акациями, повстречал попа. Шел из церкви тот, сгорбатившись, нес в мешке пироги и солонину. Алешка, кривя губы, прохрипел:

— Христа ради...

— Бог подаст!.. — И зашагал мимо, сутулясь, путаясь в полах подрясника.

Возле речки в кирпичных сараях и амбарах — хлеб. Во дворе дом, жестью крытый. Заготовительная контора Донпродкома № 32. Под навесом сарая — полевая кухня, две патронные двуколки, а у амбаров шаги и нечищенные жала штыков. Охрана.

Выждал Алешка, пока повернется спиной часовой, и юркнул под амбар (доглядел еще поутру, что из щелей струею желтой сочится хлеб). Брал в пригоршню жесткое зерно, жевал жадно. Опамятовался от голоса сзади:

— Это кто тут?

— Я...

— Кто ты?

— Алешка...

— Ну, вылазь!..

Поднялся на ноги Алешка, глаза зажмурил, ждал удара, ладонями закрывая лицо. Стояли долго... Потом голос добродушно буркнул:

— Пойдем ко мне, Алешка! У меня есть пшеница пареная.

Успел доглядеть Алешка на горбатом носу очки тусклые и улыбку, совсем не сердитую. Очкастый зашагал, отмеряя длинными ногами, как ходулями, а Алешка за ним поспешил, спотыкаясь и падая на руки. В заготконторе вторая дверь по коридору направо с надписью:

«Помещается политком Синицын!»

Вошли. Очкастый зажег жирник, сел на табурет, широко разбросав ноги, а Алешке под нос потихонечку сунул горшок с пареной пшеницей и в полбутылке подсолнечное масло. Глядел, как двигались Алешкины скулы и на щеках его вспухали и бегали желваки. Потом встал и взял горшок. Алешка уцепился бородавчатыми пальцами за края. Всхлипнул, трясая головой.

— Жалко тебе, жадюга?!

— Не жалко, дурья твоя голова, а облопаешься, издохнешь!

* * *

На другой день во двор заготконторы с рассветом пришел Алешка. Сидел на поломанных порожках, ляская зубами, и до восхода солнца ждал, пока скрипнет дверь с надписью «Помещается политком Синицын!» и на пороге покажется очкастый.

Солнце перевалило через кирпичные сараи, когда встал очкастый. Вышел он на крыльцо и носом закрутил.

— От тебя воняет, Алешка?

— Я исть хочу... – буркнул Алешка и глянул на очки снизу вверх.

— Сейчас мы сварим каши, но... от тебя, Алеша Попович, все-таки воняет.

Алешка сказал просто и деловито:

— Меня Макарчиха убивала, а теперь жарко, и в голове черви завелись...

Очкастый побледнел и переспросил:

— У тебя черви?

— В голове!.. Грызут дюже...

Алешка снял с головы перепревший от крови пук конопли, а очкастый заглянул в круглую гноящуюся рану на Алешкиной голове. Увидел, как из сукровицы острые головки кажут белые черви, и застонал, через крыльцо перегнувшись.

Алешка осмелел и сказал:

— Ты вот чего... ты мне их повыковыряй палочкой, а в дыру керосину налей... Подохнут черви с керосину-то?

Очкастый заостренной палочкой выковыривал из раны склизких червяков, а Алешка скулил и перебирал ногами. С этих пор и установилась промеж них дружба. Каждый день приползал в заготконтору Алешка, жрал толокно из чашки, хлебал масло, ел много и жадно и всегда беспокойно ощущал на себе пыливо-ласковый взгляд.

* * *

За прогоном, за зеленой стеной шуршащих будыльев кукурузы отцвело жито. Колос вспух и налился ядреным молочным зерном. Каждый день мимо хлебов гонял Алешка в степь пасти заготконторских лошадей. Не треножа, пускал их по полынистым отножинам, по ковылю, седому и вихрастому, а сам заходил в хлеб. Рослые стебли жита радушно жались, давали место, и Алешка ложился остороженько, стараясь не толочь хлеб. Лежа на спине, растирал в ладонях колос и ел до тошноты зерно, мягкое и пахучее, налитое незатвердевшим белым молоком.

Как-то пригнал Алешка лошадей в степь. Долго бочился, захаживал вокруг норовистой и брыкучей кобыленки, хотел репы выбрать из гривы и счистить с кожи присохшую коросту. Щерила почернелые зубы кобыла, норовила куснуть или накинуть задом. Алеша изловчился-таки — цап ее за хвост, а тут сзади голос:

— Эй, Алешка!.. Будя тебе лодырничать. Наймайся ко мне в помочь?! Буду держать за харч, ну, обувку там какую справлю.

Выпустил Алешка кобылий хвост, оглянулся. Стоит неподалеку хуторской богатеи Иван Алексеев, смотрит на Алешку улыбочиво.

— Пойдешь в работники, сказывай? Харч у меня, как полагается, настоященский... Молочишко есть и все такое прочее...

Не подумал Алешка, обрадовался работе и хлебу, иапрямки брякнул:

— Пойду, Иван Алексеев.

— Ну, являйся с пожитками к вечеру! – И пошел Иван Алексеев, мелькая слинявшей рубахой по кукурузе.

Голому одеться — только подпоясаться. Ни роду у Алешки, ни племени. Именья — одни каменя, а хату и подворье еще до смерти мать пораспродала соседям: хату —

за девять пригоршней муки, базы — за пшено, леваду Макариха купила за корчажку молока. Только и добра у Алешки — зипун отцовский да материны валенки приношенные. Табун пришел с попаса, а Алешка к Ивану Алексееву во двор. Возле стряпки расстелила хозяйка рядом, сели семейно на земле, вечеряют. В ноздри Алешке так и ширнуло духом вареной баранины. Проглотил слюну, стал около, картузишко комкая, а в мыслях: «Хучь бы посадила вечерять хозяйка...» Не тут-то было. Рвет и мечет баба, чугунами гремит:

— Ишо дармоеда привел! Он слопаёт больше, чем наработает. Провожай его, Алексеевич, с богом! Не нужен по теперешним временам!

— Молчи, баба! Есть две отвертки — знай посапливай! – Это сам Иван Алексеев, бороду рукавом вытирая.

На том разговор и кончился.

Не впервой Алешке работать. В отца пошел — въедливый на работу, с семи лет погоньчем был, хвосты быкам накручивал.

Дня три пожил — освоился, на мельницу с хозяйской снохой съездил, на покосе сено копнил. Ночевать устроился под навесом сарая. В первую же ночь пришел под навес хозяин, сказал, вонюче отрыгивая луком:

— Ежели ты, сучье вымя, затеешься тут курить, голову саморучно с вязов сверну! Чтоб ни-ни!

— Я, дяденька, не занимаюсь.

— Ну, гляди!..

Ушел, а Алешке не спится. И на вторую ночь — тоже. От работы полевой гудут ноги и руки, в спине кол болячкой растопырился и сон нейдет. На третий день — спозаранку — прибежал в контору. Очкастый умывался на крыльце, кряхтя и фыркая.

— Ты где запропал, Алексей?

— В работники нанялся.

— К кому?

— К Ивану Алексееву, на краю живет.

— Ну, браток, надбеги вечером. Потолкуем насчет этого.

Вечером напоил Алешка скотину, пришел в контору. Очкастый в книгах копается.

— Ты грамоте знаешь, Алексей?

— В приходском учился. Себя расписываю.

— Пойдем со мною!

Пошли по коридору. В конце на дверях мелом написано — раскумекал Алешка: «Клуб РКСМ». Чудно и непонятно. Вошел очкастый, Алешка, робея, — следом. В комнатухе портреты, флаг красный, слинявший, и ребята кое-какие, знакомые. Книжку читают вслух, покосились на скрип двери и опять слегли над столом, слушают. Прислушался и Алешка. Читали о том, как должны нанимать хозяева работников, и еще про многое разное читали. Пришел Алешка из клуба в полночь. Долго ворочался на рваной дерюжке. До самой зари настырно заглядывал ему в глаза кособокий месяц.

* * *

Говорил Алешке Иван Алексеев:

— Ты смотри у меня, сукин сын, чтоб работа горела у тебя в руках!.. Чуть замечу, что раззяву ловишь, в один момент сгоню со двора!.. Иди, издыхай на улице!..

Алешка и на покос, и на молотьбу, и скотину убирает, а Иван Алексеев руки за махровитый кушачок засунет, знай похаживает с ухмылочкой по двору.

Подозвал его сосед как-то в праздник:

— Здорово живешь, Иван Алексеев!

— Слава богу.

— Совесть-то всю растерял?

— Что такое?

— А то, что не дело ты строишь... Лешка у тебя ровно лошадюка ворочает... Надорвешь парнишку. Греха на душу возьмешь!..

— Смотрел бы ты, сосед, за своим добром, на чужой баз глаза нечего пучить, а в обчем, убирайся под разэтакую мать!.. — Повернулся к соседу спиной, зашагал степенно и враскачку, а за угол сарая завернул — бороду зажал промеж зубов ядреных и желтых, выругался матерно и злобу глухую на соседа до поры до времени припрятал на самое доньшко своего нутра.

С той поры мстил безлошадному бедняку соседу: загонял коровенку со своего жнивья, держал ее привязанной и некормленной по двое суток, а на Алешку еще больше работы навалил и за каждую пустяковину бил дурным боем.

Пожаловаться хотел Алешка очкастому, но боялся, что, узнав, прогонит его Иван Алексеев. Молчал. Ночами, короткими и душными, под навесом сарая мочил подушку горечью слез, а вечерами всегда, как только пригонял с водопоя скотину, через гумно, крадучись и припадая к плетням, бежал в клуб. Каждый день встречался с очкастым. Улыбался тот, глядя на Алешку поверх тусклых очков, и по спине похлопывал. В воскресенье пришел Алешка в клуб засветло. В комнатухе народу густо, у всех винтовки, а у очкастого на поясе кобура с ремнем витым и блестящая штука, на бутылку похожая.

Увидел Алешку, подошел, улыбаясь.

— Банда в наш округ вступила, Алексей. Как только займут станицу — ты к нам, клуб защищать!

Хотел расспросить Алешка, как и что, но больно народу много, не посмел. На другой день утром маслом косилочным смазывал Алешка косилку. Глянул к стряпке — из дверей хозяин идет. Захолонуло у Алешки в середине: брови у хозяина настобурченные, идет и бороду дергает. Как будто и неуправки нет ни в чем, а побаивается хозяина Алешка, больно уж лют он на расправу. Подошел к косилке:

— Ты где бываешь ночью, гаденыш?

Молчит Алешка. Банка с маслом косилочным в пальцах у него подрагивает.

— Где бываешь, говорю?!

— В клубе...

— А-а-а... в клубе? А этого ты не пробовал, так твою мать?!

Кулак у хозяина весь желтой щетиной порос и тяжел, как гирия. Стукнул Алешку по затылку, а у того в ноги подвернулись, упал грудью на косилочные крылья, из глаз, словно просяная рушка, искры посыпались.

— Малость отвыкнешь шляться!.. А нет, так убирайся со двора к чертовой матери, чтоб и духом твоим не воняло тут!

Запрягая в косилку коней, гремел хозяин:

— Христа ради взял его, а он будет с сукиными сынами якшаться, а опосля придет другая власть и будут за тебя, за гада, турсучить!.. Ну, только направься туда, я тебе вложу памятку!..

У Алешки зубы редкие и большие, и сердце у Алешки простецкое, сроду ни на кого не сердчал. Бывало, говорила ему мать:

— Ох, Ленька, пропадешь ты, коли помру я. Цыпляты тебя навозом загребут! И в кого ты такой уродился? Отца твоего через его ухватку и устукали на шахтах... Каждой дыре был гвоздь... А тебя сейчас ребяташки клюют, а посла и вовсе из битых не вылезешь...

Доброе Алешкино сердце, ему ли на хозяина злобиться, коли тот кусок ему дал? Встал Алешка, передохнул малость, а хозяин опять присучивается бить — за то, что, когда упал на косилку, масло разлил. Кое-как вечера дождался Алешка, лег под дерюгу и голову подушкой накрыл...

Проснулся Алешка перед зарею. По проулку зацокали лошадиные копыта и смолкли у ворот. Звякнуло кольцо у калитки. Шаги и стук в окно.

— Хозяин!.. – тихо так, вполголоса.

Прислушался Алешка: рыпнула дверь, на крыльцо вышел Иван Алексеев. Долго и глухо гутарили промеж себя.

— Лошадей бы трошки подкормить... – доплыло до сарая.

Алешка приподнял голову, увидел, как двое в шинелях ввели во двор оседланных лошадей и привязали к крыльцу. Хозяин с одним из них направился к гумну.

Проходя мимо сарая, заглянул под навес, спросил потихоньку:

— Ты спишь, Алешка?

Притаился Алексей, носом пустил сдержанный храп, а сам прислушался, приподымая голову.

— Парнишка живет у меня... Ненадежный...

Минут через пять скрипнула гуменная калитка, хозяин пронес беремья сена; следом шел чужой, звякая шашкой и путаясь в полах шинели. Голос услышал Алешка сипло-придушенный:

— Пулеметы есть у них?

— Откедова!.. Два взвода красных стоит во дворе конторы... И все... Ну, там политком еще, весовщики...

— Завтра в полночь приедем на гости... в Казенном лесу все... Перережем, ежели врасплох...

Около крыльца заржала лошадь, второй в шинели крикнул злобно:

— Тю, проклятая!..

Звук удара и топот танцующих копыт.

Перед рассветом, в редющей темноте, со двора Ивана Алексеева выехали двое конных и крупной рысью поскакали по дороге к казенному лесу,

* * *

Утром, за завтраком почти не ел Алешка, сидел, не подымая глаз. Покосился хозяин подозрительно.

— Ты что не лопаешь?

— Голова болит.

Насилу дождался, пока кончится завтрак. Крадучись, прошел на гумно, перемахнул через плетень и — рысью в контору. Ветром ворвался в комнату политкома Синицына, хлопнул дверью и стал у порога, придерживая руками барабнящее сердце.

— Откуда ты сорвался, Алешка?

Путаясь, рассказал Алешка про ночных гостей, про обрывки слышанного разговора. Очкастый выслушал, не проронив ни одного слова, потом встал, кинул Алешке ласково:

— Посиди тут... — и вышел.

С полчаса просидел Алешка в комнате очкастого. На окне сердито гудела оса, по полу шевелились пряди солнечного света. Услышав во дворе голоса, глянул в окно Алешка. У крыльца стояли: очкастый с двумя красноармейцами, а в середине хозяин Иван Алексеев. Борода у него тряслась и прыгали губы:

— По злобе наговорено вам...

— А вот увидим!..

Таким еще не видел Алешка очкастого: слились на переносице брови, из-под очков жестоко блестели глаза. Отомкнул дверь в кирпичном сарае, стал сбоку и к Ивану Алексееву строго так:

— Заходи!..

Пригибаясь, шагнул в сарай Алешкин хозяин. Хлопнула дверь за ним.

* * *

— Ну вот гляди: так и так, потом раз, два, и гильза выбрасывается. Вот сюда вставляется обойма...

Лязгает винтовочный затвор под рукою очкастого, смотрит он на Алешку поверх очков и улыбается.

Вечером дегтярной лужей застыла над станицей темнота. На площади возле церковной ограды цепью легли красноармейцы. Рядом с очкастым — Алешка. У винтовки Алешкиной пахучий ремень и от росы вечерней потное ложе...

В полночь на краю станицы, возле кладбища, забрехала собака, потом другая, и сразу волной ударил в уши дробный грохот копыт. Очкастый привстал на одно колено, целясь в конец улицы, крикнул:

— Ро-о-та... пли!..

Га-а-ах! Тах! Тах! Тах!..

За оградой вспугнутое эхо скороговоркой забормотало: ах-ах-ах!..

Раз и два двинул затвором Алешка, выбросил гильзу и снова услышал хриплое: «Рота, пли!»

В конце широкой улицы — ругань, выстрелы, лошадиный визг. Прислушался Алешка — над головой тягуче-нудное: тю-ю-уть!..

Спустя минуту другая пуля чмокнулась в ограду на аршин повыше Алешкиной головы, облила его брызгами кирпича. В конце улицы редкие огоньки выстрелов и беспорядочный удаляющийся грохот лошадиных копыт.

Очкастый пружинисто вскочил на ноги, крикнул:

— За мной!..

Бежали. У Алешки во рту горечь и сушь, сердце не умещается в груди. В конце улицы очкастый, споткнувшись об убитую лошадь, упал. Алешка, бежавший рядом с ним, видал, как двое впереди них прыгнули через плетень и побежали по двору. Хлопнула дверь. Громыкнула щеколда.

— Вот они! Двое забегли в хату!.. – крикнул Алешка.

Очкастый, хромая на ушибленную ногу, поравнялся с Алешкой. Двор оцепили. Красноармейцы густо легли за кладбищенской оградой, по саду за кустами влажной смородины; жались в канаве. Из хаты, из окон, заложенных подушками, сначала стреляли, в промежутки между хлопающими выстрелами слышалось хриплое матюканье и захлебывающиеся голоса, потом все смолкло.

Очкастый и Алешка лежали рядом. Перед рассветом, когда сырая темнота, клубясь, поползла по саду, очкастый, не подымая головы, крикнул:

— Эй, вы там, сдавайтесь! А то гранату кинем!

Из хаты два выстрела. Очкастый взмахнул рукой:

— По окнам, пли!

Сухой, отчетливый залп. Еще и еще. Прячась за толстыми саманными стенами, те двое стреляли редко, перебегая от окна к окну.

— Алешка, ты меньше меня ростом, ползи по канаве до сарая, кинешь гранату в дверь... Иначе мы не скоро возьмем их... Вот это кольцо сдернешь и кидай, не медли, а то убьет!..

Отвязал очкастый от пояса похожую на бутылку штуку. Алешке передал. Изгибаясь и припадая к влажной земле, полз Алешка; сверху, над канавой, пули косили бурьян, поливали его знобкой росой. Дополз до сарая, сдернул кольцо, нацелился в дверь, но дверь скрипнула, дрогнула, распахнулась... Через порог шагнули двое; передний на руках держал девчонку лет четырех, в предутренних сумерках четко белела рубашонка холстинная, у второго изорванные казачьи шаровары заливала кровь; стоял он, голову свесив набок, цепляясь за дверной косяк.

— Сдаемся! Не стрелять! Дите убьете!

Увидал Алешка, как из хаты к порогу метнулась женщина, собой заслонила девочку, с криком заламывая руки; назад оглянулся — очкастый привстал на колени, а сам блее мела; по сторонам глянул.

Понял Алешка, что ему надо делать. Зубы у Алешки большие и редкие, а у кого зубы редкие, у того и сердце мягкое. Так говорила, бывало, Алешкина мать. На гранату блестящую, на бутылку похожую, лег он животом, лицо ладонями закрыл...

Но очкастый метнулся к Алешке, пинком ноги отбросил его, с перекошенным ртом мгновенно ухватил гранату, швырнул ее в сторону. Через секунду над садом всплеснулся огненный столб, услышал Алешка грохочущий гул, стонущий крик очкастого и почувствовал, как что-то вонюче-серное опалило ему грудь, а на глаза навалилась густая колкая пелена.

* * *

Когда очнулся Алешка, увидал над собою зеленое — от бессонных ночей — лицо очкастого.

Попробовал Алешка приподнять голову, но грудь обожгло болью, застонал, засмеялся.

— Я живой... не помер...

— И не помрешь, Леня!.. Тебе помирать теперь нельзя. Вот гляди!..

В руке очкастого билет с номером, поднес к Алешкиным глазам, читает:

— Член РКСМ, Попов Алексей... Понял, Алешка?.. На полвершка от сердца попал тебе осколок гранаты... А теперь мы тебя вылечили, пускай твое сердце еще постучит — на пользу рабоче-крестьянской власти.

Жмет очкастый руку Алешке, а Алешка под тусклыми, запотевшими очками увидал то, чего никогда раньше не видал: две небольшие серебристые слезинки и кривую, дрожащую улыбку.